

Binová, Galina Pavlovna

"Новая волна" и метаморфозы "вечной" темы в современной советской литературе

Opera Slavica. 1991, vol. 1, iss. 1, pp. 22-29

ISSN 1211-7676 (print); ISSN 2336-4459 (online)

Stable URL (handle):

<https://hdl.handle.net/11222.digilib/115704>

Access Date: 01. 12. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

"НОВАЯ ВОЛНА" И МЕТАМОРФОЗЫ "ВЕЧНОЙ" ТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Галина Бинова

Не утихает в советской литературе последних лет мощная волна "возвратившихся" произведений, исследующих сталинизм во всех его проявлениях, политических, экономических и нравственных последствиях.

Гораздо менее бурным, но не менее симптоматичным является в последние годы поток произведений о близком прошлом, о так называемом периоде застоя. Правда, порой казалось, что именно "близость" пережитого словно бы отпугивала писателей сказать правду и об этом времени. Поэт Наум Коржавин, на собственном опыте познавший удушливую атмосферу эпохи застоя, так пишет об этом времени: "Время, которое сейчас называют застойным, в каком-то смысле было хуже для литературы, чем сталинское. Литературе не страшна трагедия, страшна безнадежность. Когда у человека не остается не только надежд, но даже желаний - это уже за пределами искусства, это уже нечто антихудожественное".¹ Взаимоотношения художников со своей страной и своим временем в мрачный период застоя были неоднозначными: от полной совместности, компромиссности сознания (речь идет о писателях, которые, подделяваясь под внешнюю ситуацию, заботились не о чести, а об элементарной выживаемости) до полной несовместности, проявившейся в эмиграции многих талантливых писателей и поэтов (тот же Н. Коржавин, А. Солженицын, В. Войнович, В. Некрасов, В. Аксенов, И. Бродский и многие другие) или просто в физической смерти (Ю. Казаков, В. Шукшин, В. Высоцкий...). И то, что мы можем сейчас назвать десятки имен писателей, которые нравственно выстояли в те пасмурные годы, когда слово правды не поощрялось, а возникало вопреки, еще раз подтверждает истину: нравственность и талант неотделимы.

Литературу, художественно воплотившую эпоху застоя, называют "жестоккой" или "другой" прозой, иногда "новой волной" в современной литературе. Эту бесстрашную, честную прозу представляют Л. Петрушевская, В. Пьецух, Е. Попов, С. Каледин, М. Кураев, Ю. Алешковский и др. Это тоже своего рода "задержанная", репрессированная литература, ибо многие произведения названных авторов написаны в застойные времена, а напечатаны только сейчас. Литературу эту критика и читатели часто упрекают в пессимизме и безысходности, однако именно в этом ее полемическая заостренность, альтернативность по отношению к официальной пропаганде и оппозиционность по отношению к политизиро-

ванной мифологии всеобщего благополучия, компенсация за годы беспроектной серости и ура-оптимизма. "У искусства нет иного выхода, кроме безраздельного слияния с дисгармонией расчеловеченного мира".² Иными словами, на пути эстетического преодоления античеловеческого мира происходит заклиание его стужением и заострением (как отметил В. Ерофеев: "Мой антиязык от антижизни"). Таков художественно необычайно концентрированный рассказ Л. Петрушевской "Новые Робинзоны. Хроника конца XX века" (Новый мир, No. 8, 1989) - своего рода конспект романа. Это рассказ о том, как человек трагически теряет опору в обществе и как в нем, социально незащищенном существе, резко обостряется инстинкт самосохранения. Выжить любой ценой - единый критерий существования, неизбежно сползающего к самым примитивным формам на грани обеспечения чисто животных потребностей. Беспросветность тупого боя за выживание сгущается в сплошном, плотном тексте Петрушевской. Но и в этой безысходности есть свет, есть любовь к жизни от противного, именно на пути эстетического преодоления материала.

Почти лабораторно исследуют авторы бацилл ожесточения, деформации, отчуждения людей, зачастую людей самых близких. В повести Ю. Красавина полоса отчуждения проходит между матерью и сыном. Из мозаики психологических состояний складывается человеческий характер, сформированный тяжкими годами нужды, горя, укоренелой несвободы (Ю. Красавин: "Полоса отчуждения". Новый мир, No. 8., 1989). В рассказе В. Стукачева отчужденность между сыном и отцом перерастает в злобную, почти звериную ненависть (В. Стукачев, "Папаня", Литературная газета, No. 12, 1990). В трагическом рассказе "Людочка" (Новый мир, No. 9, 1989) В. Астафьев развивает мотивы "Печальной детектива", с болью рисует горькую, униженную жизнь деревенской девушки, хрупкого, беззащитного перед миром жестокости существа. Судьба Людочки, ее доверчивость и доброта уязвимы окружающей ее профанацией жизни, раскрашенной "наглядной агитацией" застойных лет, условной риторикой и булжниками громких плакатных фраз. Рассказ этот словно очерк с натуры. В прозе последнего времени слово "натуральный" приобретает особый смысл и вес. "Другая проза" - это по сути дела неонатуралистическая волна, скрупулезно фиксирующая душевную неустroенность или духовную пустоту героев. Стремление в натуральную величину зафиксировать этапы расчеловечения выливается в своего рода "соционатурализм" в повестях Ю. Полякова "Апофегей" (Юность, No. 5, 1989) и "Стройбат" С. Каледина (Новый мир, No. 4, 1988), которые А. Агеев назвал "двумя полусами единой мозаики картины нашего общества".³ С. Каледин глазами своего героя Кости Карамычева рисует колоритную картину стройбата, где извращены все человеческие ценности. В атмосфере пьянства, воровства, наркомании формируется, вернее, деформируется психология молодых людей, которые предпочитают отстрадать безропотно год издевательств и унижений, чтобы второй год измываться и унижать самому. Подобную "школу жизни" прошел и Валерий Чистяков, герой трагикомического нравоописательного фельетона Полякова. Наученный чутать реальную силу и подчиняться ей, Валерий легко вписывается в мир, законы которого мало отличаются от стройбатовских,

и уверенно шагает по ступенькам карьеры, теряя иллюзии, идеалы, а заодно и моральные качества. Внимание авторов этих повестей в соответствии с возможностями социографической прозы переключено с человека на среду его пребывания. Психологически глубоко и убедительно разработанных характеров мы здесь не найдем. Неонатуралистическая волна выполняет здесь в первую очередь важную негативную функцию как симптом крушения общественных ценностей и идеалов.

Закономерно встает вопрос: что же, с потерей общественной перспективы кончается человек, смысл его индивидуального существования? Ведь есть же самоценность жизни и любви, в какую бы мрачную эпоху мы ни жили. И в ненастные времена любовь остается непреходящей ценностью, должна быть даже глубже, преданнее, ценнее как противоядие помойной реальности, тупику обыденности. Не случайно же вся настоящая литература и о любви тоже. Правда, в последние годы, когда мир на глазах меняется, пульсирует, явно ощущается перекося в сторону гражданских тем. Теме любви не везет. Интимное отступило перед общественным и историческим. Ведь и из современной советской поэзии любовь почти исключена, а исключить главный лирический мотив из поэзии — это все равно, что лишить поэзию души. У нас домло даже до того, что в оценке А. Ахматовой величие ее поэзии связываем прежде всего с гражданскими мотивами (в первую очередь с "Реквиемом"), забывая, что без замечательной любовной лирики не было бы и Ахматовой поздней. И прав А. Кушнер, считающий, что отсутствие подлинной любовной лирики в современной поэзии, неспособность поэтов на нее, выдает их общую политическую несостоятельность, ставит под сомнение самые высокие гражданские темы. К сожалению, и в прозе самые неудачные страницы, самые постыдные провалы связаны с любовными сценами. Можем ли мы представить "Анну Каренину" или "Тихий Дон" с подобным изъяном? В любую самую революционную эпоху есть еще жизнь человеческого сердца. Ибо, как говорил А. Франс: "В человеке заложена вечная возвышающая его потребность любить". Как же эта большая тема — жизнь человеческого сердца — показана в современной советской прозе? Что касается героев "новой волны", то о любви как возвышающем их чувстве чаще говорить не приходится. Просто не находят они в себе таких чувств и даже не горюют об этом. Герои рассказов Л. Петрушевской живут сиюминутными будничными, нередко просто низменными движениями души. Стадный образ жизни в "своем кругу" (Л. Петрушевская, "Свой круг". Новый мир, No. 1, 1988) проявляется в беспорядочных мимолетных связях, в извращенности разнузданных сексуальных игр, в которые они играют с большим хладнокровием. На первый взгляд кажется, что индивидуалистические чувства и амбиции персонажей "новой волны" лежат сугубо в личной сфере, они не вписываются в общество и им нет дела до общества. Но чувства не существуют отдельно от человека, а человек — от общества. Культура, в том числе культура чувств, создается и постигается не сразу. И все лично пережитое тоже исторично, потому что личная судьба каждого из нас связана с историей. В "Своем кругу" как бы вскользь упоминаются социальные катаклизмы: "Десять ли лет прошло в этих пятинах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские

или югославские события, промли какие-то процессы, затем процессы над теми, кто протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто собирал деньги в пользу семей сидящих в лагерях - все это пролетело мимо".⁵ На первый взгляд, исторический круговорот кажется ничего не значащим фоном, но он - барометр и индивидуальной, личной жизни героев. И их демонстративная нравственная и политическая индифферентность - это тоже своего рода противостояние официальной морали идиотов типа милиционера Валеры, мечтающего, что "скоро все изменится и все будет как при Сталине, а при Сталине вот был порядок". И дикий разгул страстей, буйство плоти и почти патологическая чувственность - это естественная реакция на патологию времени.

Патология времени деформирует человеческие души. "Я социально остервенел", - признается Б. Василевский.⁶ Герои Петрушевской производят на читателя именно такое впечатление - остервенелых. И вместе с утратой социального оптимизма произошла утрата духовная. Когда-то А. Солженицын спрашивал: "Что же будет в нашей стране, когда правда обрушится водопадами?" Правда обрушилась и принесла разобщенность и холодность, вместо любви - отчуждение и одиночество. Нужно отдать должное: не все герои пассивно смиряются, осознав свою духовную ущербность. Как говорил С. Залыгин: "Отсутствие чего-либо человеческого в человеке - это не отвлеченное нет, это всегда "нет" какое-нибудь страдальческое, смешное, злое и т. д." Страдальчески осознает свою духовную неполноценность герой повести В. Рыбакова "Не успеть" (Нева, No. 12, 1989): "...эти объятия были как бы обман, имитация, они обещали защиту, нет, они просто по определению должны были включать в себя защиту как основной свой смысл - и не давали ее. И поэтому, как бы самозабвенно ни распаивалась девочка подо мной, как бы ни кричала от счастья, ощутив, что в ее глубине взрывается моя бесплодная, не защищающая нежность - я не чувствовал себя мужчиной, я был кастратом, строй жизни кастрировал меня".⁸ Не всегда было так. Порой, разглядывая фотографии, герой "откатывался душой туда", в недалекое прошлое, когда были еще силы и чувства: "Вот же мы, чувствовали, вот какие мы на самом деле - веселые, счастливые, свободные, жадные друг до друга и бережные друг к другу, а остальное все, что, как плесень, покрыло нас теперь, - это просто от усталости, от суеты, это наносы, стоит хоть на один вечер смыть их, и сверкнем мы вот такие..."⁹ Но жизнь - "бездушная, безмозглая гонка", когда люди не успевают жить, - сделала свое. Повесть эта имеет гротескно-фантастический мотив. Люди "изнеженные", т. е. те, у кого оказались исчерпанными адаптационные возможности, не выдерживают, покидают землю. У них помимо воли нарастают крылья, и они улетают. Финал повести бесспорно пессимистический. Нарастают крылья и у главного героя. Но отлет для него - не освобождение, он мечтает об одном - взлететь повыше, в стратосферу, чтобы скорей задохнуться. Над страной нависла угроза, что останутся только "безнадежные алкоголики и большое начальство".

Тема шемящего одиночества, душевной неустroенности и в то же время устремленности к чему-то непрожитому, небанальному

остро звучит в рассказе Ю. Головина "Птица, которая уже прилетела" (Ю. Головин, Дельфины. Повести и рассказы. Москва 1989). Герои - два случайных попутчика в ранней электричке. Оба неприкаянные, одинокие, жаждущие тепла, похожие на птиц, "которые уже прилетели, а весны еще нет", готовые залететь в любую форточку, чтобы согреться. Героиня рассказа Петрушевской, женщина по прозвищу Али-Баба ("Али-Баба". Аврора, No. 9, 1988) знакомится в пивнушке с симпатичным молодым человеком, идет к нему ночевать. Засыпая, преисполнена нежного чувства благодарности, "после чего немедленно проснулась, потому что Виктор обмочился". Женщина пытается отравиться. В рассказе Петрушевской "Такая девочка" (Огонек, No. 40, 1988) перед нами странная "девочка", курящая, плачущая, зазывающая всех встречных мужчин в постель. Типичные герои Петрушевской - не прости-тутки (как у В. Кунина), не пьяницы и идиоты (как нередко у В. Ерофеева), а более или менее нормальные люди интеллигентных профессий, часто умственно незаурядные. Г. Вирен отмечал, что проза Петрушевской лишена "метафоричности, изыска, эlegantности, да и вообще красоты".¹⁰

Это антиэстетичная, шокирующая, жестокая, сгущенная до предела проза, которую не все принимают и не очень печатают. Но это самобытная и искренняя проза. Это - правда о судьбе человека, прежде всего о женской судьбе. Героини Петрушевской не обаятельны и не милы, они циничны и ожесточены жестоким миром, "изломаны злым идиотизмом расейской жизни". В уродливых условиях извращаются и материнские чувства, родители отчуждаются от детей. Дико проявление материнской заботы у героини "Своего круга". Несколько раз упоминается в рассказе о том, что одна из членок "своего круга" родила мертвого ребенка. Это мрачное сочетание "родить мертвого" - символично. Интересно, что неспособность родить ребенка - нередко закономерное следствие неполноценности в любви. У героини рассказа В. Токаревой "Первая попытка" (Новый мир, No. 1, 1989) плод, дожив до определенного срока, получает обратное развитие, уменьшается и погибает. "Врачи искали причину, но Мара знала: это ее любовь приняла обратное развитие и, не дозрев, стала деградировать, пока не умерла".¹¹ Сломанные ростки человеческих связей убивают естественные возможности, нереализованное материнство делает женщину как бы несостоявшейся. Литература - не прокуратура - произнесла Петрушевская в одном из интервью. Но объективированная беспристрастность "другой прозы" - только кажущаяся, рассказы Петрушевской полны пронзительной горечи и мучительно-го сострадания к людям с неустроенной жизнью души, обделенным счастьем и теплом, заботой и пониманием. Для "новой волны" вообще характерна установка на достоверность авторского персонажа. В разных подобиюх и обликах автор - действующее лицо, феномен присутствия и участия бесспорен. Каждый рассказ Петрушевской - это мастерская инсценировка жизненных микроситуаций и почти стенографическая запись словно подслушанных на ходу разговоров, исповедей. И еще: творчество Петрушевской, как и других представителей "новой волны" - это безжалостный диагноз болезней общества, которые и потребовали его радикальной ломки и перестройки.

Ирония - основное писательское оружие В. Токаревой. И о любви она тоже пишет так - намеренно снижая и развенчивая душевные движения своих персонажей. Эта установка проявляется во всем - в тоне, в нередко банальной афористичности и натушной парадоксальности и игре слов, что не оставляет сомнения в ненастоящности, ненатуральности чувств героев. Когда один за другим читаешь рассказы Токаревой, они сначала кажутся свежими и оригинальными, потом - однообразно скучными, ироническая однотональность, освобожденная от художественности, приедается, начинает раздражать. Парадоксальность и ироничность очень характерны для "новой волны". Возьмем, например, начало рассказа Петрушевской "Свой круг": "Я очень умная. То, что не понимаю, того не существует вообще". Но у Петрушевской ирония многослойная, часто трагическая, у Токаревой же заданная ироническая универсальность нередко дает нулевой эффект. Одним из наиболее удачных, на наш взгляд, является у Токаревой уже упоминавшийся рассказ "Первая попытка". Токарева воплотила здесь вечное женское начало - желание любить и быть любимой - в лице Мары, представляющей собой некую современную вариацию бессмертной чеховской Душечки. Это по сути дела "закодированный" роман, срез всей жизни героини - от рождения до смерти с установкой на доминантную потребность - любить. Но если в чеховской героине преобладала мотыльковая легкомысленность, то у Мары - напор, целеустремленная нахрапистость, как говорит о ней автор, она "давила", ей невозможно было не подчиниться. Выполненная природой как потребительница, она магнетически притягивает к себе очередную жертву. Каждая очередная смена партнера для нее - это форма самоутверждения и приспособления к меняющимся жизненным обстоятельствам. Но это была только иллюзия обновления жизни, на самом деле ее жизнь была как бы мотором, работающим вхолостую, словно непрерывное выбрасывание в космос бесполезной энергии. И все-таки жалость к Маре у читателя остается. И остается вопрос: был ли какой-нибудь смысл в этом человеческом существовании? Ведь вспыхнуло же однажды вдруг что-то в Маре при встрече с Саеи: "...с этим человеком хотелось всем делиться, оторвать от себя последний кусок, снять последнюю рубашку. Так просто, задаром подарить душу и тело, только бы взял. Только бы пригодилось. Оказывается, в ней, в Маре, скопилось так много неизрасходованных чувств, слов, нежности, ума..."¹²

Но вспыхнуло и погасло. Первая попытка - это сорок пять лет, отпущенных Маре. Второй попытки не будет. "Все кончилось, не успев начаться". Неспособность любить обнаруживает полную жизненную несостоятельность и Эли, героини рассказа Токаревой "Хеппи энд" (Огонек, No. 10, 11, 1990). И опять какая-то ненатуральность поисков счастья. Как бы жизнь и чувства на пробу. Этот мотив жизни-игры особенно ошутим в повести Л. Жуховицкого с символичным названием "В близком отдалении" (Нева, No. 11, 1988). Ее герои - молодые люди, одиночки, обмылки, обломки распадавшегося. Не зная, "куда жить", они словно бы и не живут, а играют в разные игры. "Влюбилась - значит, по уши и на всю жизнь. То есть до новой роли, потому что новая роль - это новая жизнь..." - говорит одна из героинь о стиле жизни своем

подруги.¹³ Но это ложь. Герой повести постигает в финале истину. Жизнь не театр. Актеры могут играть один и тот же спектакль по десять раз. Мы не играем, а живем. Живем один раз, начисто. Неразборчивые связи обезличивают чувства. Если море зачерпнуть в ладонь, даже море потеряет цвет. Не состоялась любовь, не состоялся талант, не состоялась судьба. Близость не сближает героев, души не рифмуются, отчуждаются. "Яростный эгоцентризм Анжелики словно выжигал все вокруг", - пишет автор. Анжелика, Мара, Эля - эти героини современной прозы с экзотическими именами - родные сестры. Эта похожесть образов, повторяемость ситуаций, нагнетение, массивность фактов симптоматичны для современной прозы вообще и для "новой волны" в особенности. Да, все это от жизни. Да, люди стали холоднее, ожесточеннее. Да, в судьбах героев недостает человеческого тепла, любви, взаимопонимания. Неутешительная констатация, которая не придаст нам счастья. Мы "объелись" негатива и "чернухи" в литературе. И есть опасность возникновения обратной связи. Права Е. Ржевская, которая предупреждает: "Массивность фактов, не несущих новых нравственных постижений, может перекрыть источники света. И тогда может оказаться подавленным, а не просветленным сложный, ранимый внутренний мир человека. Может истончиться грань между добром и злом, утрачиваться радость жизни, возникнуть отчуждение, ожесточенность".¹⁴ Как видим, неординарность страниц о любви, лирических рассуждений о "свойствах страсти", пробуждении души - редкость, если не уникальн в современной прозе. В этой сфере как нигде проявляется острейший дефицит того, что Пушкин назвал "смелостью изобретения". Неужели о любви уже "все сказано"? Кризис любви? Или настолько мы ущербны, что не способны на большое чувство? Не хочется верить. Конечно, из беспросветного цинизма, из бесконечной апатии и лицемерия рабской эпохи литературе труднее возрасти, тем более воспеть светлые и возвышающие чувства любви. Здесь нужна особая внутренняя "тайная свобода". Найдут ли ее в себе наши писатели-современники?

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1 КОРЖАВИН, Н.: У нас нет права на пессимизм. Московские новости, No. 7, 1989, с. 16.
- 2 ГОЛЬДМАН, А.: Социология романа. Западный Берлин 1971.
- 3 АГЕЕВ, А.: Власть тьмы и тьма власти. Литературная газета No. 25, 1989, с. 4.
- 4 КУШНЕР, А.: Поэтическое восприятие мира. Литературная газета No. 20, 1989.
- 5 Новый мир No. 1, 1988, с. 120.
- 6 ВАСИЛЕВСКИЙ, Б.: Мы все социально остервенели. Литературная газета No. 20, 1989.

- 7 ЗАЛЫГИН, С.: Из записок прошлого года. Литературная газе-
та No. 1, 1990, с. 6.
- 8 Нева No. 12, 1989, с. 16.
- 9 Там же, с. 17.
- 10 ВИРЕН, Г.: Такая любовь. Октябрь No. 3, 1989, с. 203.
- 11 Новый мир No. 1, 1989, с. 132.
- 12 Там же, с. 136.
- 13 Нева No. 11, 1988, с. 99.
- 14 РЖЕВСКАЯ, Е.: О самооценности жизни. Литературная газета
No. 31, 1989, с. 3.